

Фигурации памяти: процессо-реляционная методология, иллюстрируемая на примере Германии*

Джеффри Олик

Аннотация. Джеффри Олик — пожалуй, один из самых ярких и интересных современных исследователей социальной памяти. Однако на данный момент ни одна из его работ, к сожалению, не была переведена на русский. «Фигурации памяти» — это один из ключевых, по мнению самого автора, текстов в его творчестве. В нем представлена процессо-реляционная методология. Дж. Олик критикует традиционные подходы исследования коллективной памяти, показывая их неспособность работать с памятью как с процессом, а не как со статичным объектом. Автор предлагает новый способ изучения коллективного прошлого, основанный на анализе четырех ключевых аспектов процесса работы с коллективной памятью. Тем не менее эта методология, по заверениям автора, может быть применена к более широкому спектру социологических проблем.

Ключевые слова. Социология памяти, культурсоциология, политика памяти, процессо-реляционная методология.

Введение

Социологическое понятие «коллективная память» стало использоваться во многих сферах публичной жизни. Это словосочетание появляется на обложках газет вроде «Нью-Йорк Таймс», в выступлениях политиков; о нем говорят в целях объединения групп, выступающих за определение своей уникальной идентичности, и, таким образом, идея коллективной памяти становится предметом для художественного осмысления духа этих групп. Оно стало ключевым для научных конференций, множества сборников и специальных выпусков журналов и даже отдельного журнала «История и память»¹. Социолог Герберт Блумер различал операциональные и сенсibiliзирующие (sensitizing) понятия (Blumer, 1969: 153–182): первые относятся к постоянным и измеряемым феноменам, вторые — к возможным точкам зрения и

* Перевод с английского Дарьи Хлевнюк. Источник: Olick J.K. (2007). Figurations of memory: a process-relational methodology illustrated on the German case // Olick J.K. The politics of regret: on collective memory and historical responsibility. New York: Routledge. P. 85–118. Переводчик благодарит Татьяну Татарчевскую за помощь.

© Olick J.K., 2007

© Хлевнюк Д.О., 2012

© Центр фундаментальной социологии, 2012

1. См.: Commemorations, 1994; Collective remembering, 1990; Butler, 1989; Memory and history, 1994; Collective memory of political events, 1997, а также специальные выпуски «Communication», «Representations», «Qualitative Sociology», «Social Science History» и т. д. Обзор поля см. в: Olick, Robbins, 1998.

способам восприятия. Следует иметь в виду, что коллективная память — не операциональное понятие: нет согласия по поводу того, чем она является (если предположить, что она вообще существует) или как ее измерять. Вопрос в том, каково оно как содержательное понятие, к чему вырабатывает исследовательскую чувствительность и какого рода.

В рубрику коллективной памяти включено множество различных социальных форм, пространств и практик — от обычных воспоминаний до общих форм поддержания образца. Термин «коллективная память» использовался применительно к обобщенным индивидуальным воспоминаниям, официальным коммеморативным практикам и коллективным представлениям в дюркгеймовском смысле; считается, что она укоренена в традициях, мифах, стилях, языках, искусстве, популярной культуре и материальном мире. Некоторые авторы трактуют коллективную память как образ, объединяющий общество (Shils, 1981), другие — как пространство постоянного конфликта (Foucault, 1977; Sturkin, 1977). Иногда ее рассматривают как важную «живую» часть истории (например, в историографии) (Хаттон, 2003), а иногда как менее значимый, подчиненный историографии способ ретроспекции (эпистемологически противостоящий историографии) (Yerushalmi, 1982). Такое разнообразие вызывает вопросы о потенциальном референте термина (т. е. к чему он привлекает наше внимание) и о способе референции (т. е. на что именно направлен фокус внимания исследователя).

Идея коллективной памяти наиболее широко применяется в современных исследованиях групповой идентичности, где ее потенциал наиболее ясен². Она использовалась в научных работах по идентичности для описания представлений о прошлом и мнемонических практик, необходимых для солидаризации группы, а также отсылки к неопределенному, но важному культурному феномену — представлению сообществом самого себя (Anderson, 1991)³. Как пишут Белла и др. в работе «Привычки сердца»: «У сообществ... есть история — в каком-то основном смысле они создаются через свое прошлое — и поэтому можно говорить о том, что настоящее сообщество всегда будет „сообществом памяти“, не забывающим свое прошлое. Для того чтобы не забывать свое прошлое, сообщество постоянно пересказывает свою историю, непрерывно возвращаясь к своим основополагающим мифам» (Bellah et al., 1985: 153). Таким образом, коллективная память, с одной стороны, связана с идеей сообщества как длящейся во времени сущности, а с другой — предполагает манифестацию и попытки усиления этого чувства длительного существования у сообщества.

В основном речь идет, конечно, о нациях или, во всяком случае, о национальных государствах. Понятие коллективной памяти наиболее часто используется в контексте теоретических осмыслений наций (Commemorations, 1994; Olick, Robbins, 1998). В исследованиях национализма она рассматривается как оружие (довольно эффективное) в арсенале националистов для определения национальных границ и обоснования

2. Идентичность — это, конечно, другой неологизм, требующий так же много объяснений. См.: Handler, 1994.

3. В этом смысле у понятия коллективной памяти и культурсоциологии общей является дихотомия между имплицитными (т. е. так называемыми глубоко структурными) и эксплицитными (т. е. материальными) положениями. См.: Wuthnow, Witten, 1988.

легитимности национальных принципов. Пожалуй, наиболее цитируемое понятие в этих работах — «изобретенная традиция» Хобсбаума (*The invention of tradition*, 1983). В конце XIX века в странах Западной Европы пропагандировалось множество искусственно созданных форм ретроспекции. Это делалось для поддержания легитимности, которая, как предполагалось, ослабла после Золотого века героических революций и Реформации, но спрос на которую возрастал. В то время Ницше опасался, как ему казалось, беспорядочного разрастания *монументальной истории*, которая станет «могильщиком настоящего» (Nietzsche, 1997). Но большая часть историографии и популярных форм исторического сознания в годы, которые принято называть эпохой историцизма, с готовностью служили потребностям нации (Iggers, 1983).

В общем и целом из литературы, посвященной теориям национализма, можно почерпнуть прежде всего инструменталистское понимание коллективной памяти: какова ее роль в создании идентичности. Разумеется, идут дебаты по поводу того, в какой степени прошлое может быть переписано для нужд настоящего (Schudson, 1989; Schwartz, 1991). Но даже те, кто отстаивает позицию, что прошлое не поддается попыткам его изменить, придерживаются такой концепции памяти, в которой память (податлива ли она к изменениям или нет) делает что-то для группы, вне зависимости от того, хочет группа этого или нет (Shils, 1981). С другой стороны, можно задать вопрос совершенно другого рода — не «что память делает для группы?», а «что группа делает для памяти?». «Память, — пишет Матсуда, — стала слишком часто навязываться как понятие, определяющее прошлое, тогда как целью должно быть возвращение историчности памяти, понимания того, что она является неразрывной частью прошлого» (Matsuda, 1996: 16). Эта достаточно новая линия рассуждений была названа *историей памяти*, и ее последователи уже сделали некоторые важные проныцательные наблюдения.

Начнем с того, что обсуждать историю памяти, исключая из анализа развитие материальных средств запоминания, практически невозможно⁴. Важно, что длительное время память выводилась за пределы сознания во внешние носители, хотя ее экстернализация происходила всегда, например, в форме устных повествований или передаваемых образцов поведения. В своем классическом исследовании Фрэнсис Йетс (Yates, 1966) прослеживает закат *ars memoria* (искусство памяти) от времен Древнего Рима до Ренессанса, когда искусство памяти во многом, хотя и не полностью, было вытеснено технологией книгопечатания. О более позднем периоде Ян Хакинг пишет, что от интереса к возможностям памяти произошел переход к истории памяти как таковой (от *памяти-как* к *памяти-что*): «Искусство памяти было настоящим *techne*, умением мыслить, а не умением запоминать. Не наука являлась источником знания о каком-либо объекте исследования, но „память“» (Hacking, 1995: 202). Действительно, с учетом того, что память все больше экстернализируется и объективизируется в искусственно созданные области, в основном в печать, необходимо понимать, что память — это социальная деятельность. Впрочем, она была таковой даже до того, как стала активно экстернализоваться или концептуализироваться таким образом.

4. Основные работы по истории памяти включают: Хаттон, 2003; Goody, 1986; Ong, 1982; Thompson, 1995; Le Goff, 1992; Leroi-Gourhan, 1993.

Другой ключевой момент в истории памяти заключается в том, что опыт переживания времени между Средними веками и XIX веком сильно изменился⁵. Многие авторы пишут об экзистенциальном кризисе, связанном с большей возможностью мыслить абстрактно, с индустриализацией и урбанизацией, также приводящими к все большему и большему изменению, с теряющими свою силу религиозным мировоззрением и традиционными формами политической власти. С учетом всех этих изменений память как особая форма восприятия времени⁶ тоже изменилась. Многие ученые отмечают появление новых календарей как способа сплочения общества через стандартизацию отсчета времени (Dohrn-van Rossum, 1996; Zerubavel, 1981). Вальтер Беньямин описывает эти изменения в практически апокалиптических терминах, говоря о «пустом, однородном времени национальных государств» (Benjamin, 1968: 261). Критики, следующие этой традиции, считают, что «ориентированные на статистику идеологии довольно эффективно манипулируют способами измерения пространства и времени... при помощи привлечения риторических ходов, связанных с национальной идентичностью, чтобы легитимировать свою монополию на административный контроль» (Iggers, 1983).

Как пишет Мария Алонсо: «Исторические хроники объединяют множество личных, локальных и региональных историй и трансформируют их в единое национальное время» (Alonso, 1988). Именно это «пустое, однородное время» и является контекстом для нашего понимания коллективной памяти, как и для появления национальной историографии и исторического сознания. Современная историография — во многом продукт немецкого национализма эпохи Романтизма и реверанс в сторону сильного централизованного государства (Berger, 1997; Iggers, 1983). В самом деле, наиболее раннее употребление термина «коллективная память», которое я обнаружил, появляется в работе Гуго фон Гофмансталя 1902 года. Он писал о «проклятых силах наших таинственных предков внутри нас» и о «нагроможденных слоях коллективной памяти» (Schieder, 1978: 2). В XIX веке в Европе интерес к памяти в целом возрастал. Не только немецкие националисты, но и такие авторы, как Марсель Пруст, Анри Бергсон и Зигмунд Фрейд разрабатывали, концептуализировали, диагностировали и даже пропагандировали феномен, который многие называли *кризисом памяти* (Terdiman, 1993). Экзистенциальные проблемы того периода связывались с проблемами памяти, что парадоксально, поскольку, кажется, что в то время мир был буквально переполнен прошлым.

Несмотря на все это, современное использование термина «коллективная память» отсылает нас скорее к Эмилю Дюркгейму (Durkheim, 1961), который довольно подробно описывал коммеморативные ритуалы в «Элементарных формах религиозной жизни», и к его ученику Морису Хальбваксу, который в 1925 году издал знаковую книгу «Социальные рамки памяти» (на английский она была переведена Л. Козером в 1992 году⁷). Дюркгейма и его учеников часто критиковали за органицизм, который отрицал возможность различий и конфликтов. И правда, как мы видим, Дюркгейм

5. Релевантные тексты включают: Aries, 1974; Benjamin, 1968; Berman, 1982; Hobsbawm, 1972; Anderson, 1991; Kern, 1983; Kosellek, 1985; Les Lieux de mémoire, 1992.

6. Эти формы теории темпоральности называли «хронотипами». См.: Bender, Ellerby, 1991.

7. На русский язык она переведена С.Н. Зенкиным. См.: Хальбвакс, 2007. — Прим. перев.

писал Общество с большой буквы «О», а коллективные представления описывал так, словно они существуют сами по себе. Хальбвакс был осторожнее, он работал с понятием групп, вместо дюркгеймовского «Общества», и писал о множественности коллективной памяти, показывая, как коллективные воспоминания могут быть удобными маркерами социальной дифференциации (Coser, 1992). И хотя Хальбвакс пишет о том, что у каждой группы — своя коллективная память и подчеркивает, что помнить могут только индивиды, в его концепции можно найти отзвуки дюркгеймовских коллективных представлений как феноменов *sui generis*.

Процессо-реляционная критика

Верны или нет эти претензии по отношению к Хальбваксу, ясно, что понятие коллективной памяти, с одной стороны, позволяет обращать внимание на важные аспекты социальной жизни, но с другой стороны, неоправданно их конкретизирует и объективирует, обобщает. Это следствие того, что данное понятие появилось в те времена, когда государства поддерживали свою власть благодаря созданию из «монументальной истории» единой, постоянной и уникальной идентичности. В результате мы часто говорим о коллективной памяти так, как если бы это было единое, хорошо различимое явление, отражающее опыт прошлого; архетипичным примером коллективной памяти является архитектурная коллективная память — материальная, монолитная, хорошо различимая, буквально высеченная в камне. На использование термина «коллективная память» нас, как кажется, часто наталкивают минимум четыре, как я их называю, «пагубных постулата», заимствуя это понятие у Чарльза Тилли (Tilly, 1984):

1. Единство. Коллективная память одна, едина и по ее поводу установлен консенсус (или, во всяком случае, она навязана), а не разнообразна и не является предметом постоянных обсуждений в обществе.
2. Миметическая связь. Коллективная память, так или иначе, представляет или отражает прошлое само по себе, а не существует изначально в форме репрезентаций.
3. Материальность. Коллективная память — вещь, а не процесс или деятельность, несмотря на то, что она может быть воплощена в материальных предметах или символизироваться ими.
4. Независимость. Коллективная память отлична и отделена от других элементов культуры, а не вплетена в конstellляции других смыслов.

Конечно, «коллективная память» не единственное понятие, в использовании которого можно обнаружить подобные тенденции, и критический подход предлагает пути избежать эту опасность. Некоторые теоретики (Abbott, 1988; Bourdieu, 1993; Elias, 1968; 1978, Emirbayer, 1997; Mann, 1993), к примеру, вернулись к ранее забытой традиции критики для того, чтобы заявить: проблема, возможно, лежит в самом основании социологического (а значит, и повседневного) мышления, что влияет на многие центральные социологические понятия. В 1920-х годах немецкий философ Эрнст Кассирер (Кассирер, 1912) назвал эту проблему субстантивизмом, а альтернативный подход — функционализмом, но этот термин в данном случае нам не по-

дойдет, поскольку он слишком ассоциируется с одним из направлений в британской социальной антропологии и со структурным функционализмом Толкотта Парсонса. Современные критики субстантивизма (Abbott, 1988, 1992, 1996; Bourdieu, 1990, 1996; Bourdieu, Wacquant, 1992; Emirbayer, 1997; Уайт, 2002) обычно привязываются к категориям реляционизм или процессуализм, я же предлагаю объединить эти ярлыки в *процессо-реляционизм*⁸. С учетом того, что работы по коллективной памяти часто используют один или более «пагубных постулата» (я покажу, что они по природе своей субстантивистские), моя цель заключается в том, чтобы переопределить коллективную память в *процессо-реляционном* ключе.

В рамках *процессо-реляционной* критики общепринятые социологические подходы являются в основном субстантивистскими, поскольку предполагают, что социальная жизнь состоит из предзаданных сущностей или субстанций, в которых «по сравнению с понятием о сущности отношение представляется несамостоятельным; оно может внести в него лишь дополнительные и внешние видоизменения, не затрагивающие его собственной природы» (Кассирер 1912: 18). Упомянутые выше авторы заявляют, что представление явлений как вещей встроено в язык социальных наук, который, по выражению Пьера Бурдьё (Bourdieu, 1994, 1996), лучше подходит для того, чтобы говорить о вещах и состояниях, нежели об отношениях и процессах. Норберт Элиас, вдохновленный Кассирером и позже повлиявший на Бурдьё, пишет: «Наши языки устроены таким образом, что для того чтобы описать постоянное движение или изменение, нам приходится прибегать к описанию обособленного неизменного объекта и, будто только потом вспомнив (*almost as an afterthought*), добавлять глагол, отражающий, что в данный момент этот объект меняется... Такая редукция описания процессов к описанию статистических состояний, которую для краткости мы будем называть *процессо-редукционизмом*, самоочевидна для всех выросших в такой языковой среде».

На таких предпосылках часто строятся исследования коллективной памяти, особенно те, в которых она видится либо как зависимая, либо как независимая переменная. Такие исследования либо рассматривают память как причину изменений, либо задаются вопросом о том, когда и что изменяет саму память. Таким образом, коллективная память рассматривается как вещь или набор вещей, которые можно отделить от исследуемых процессов и которые являются внешними по отношению к ним, вме-

8. Действительно, процессуализм и реляционализм как ярлыки предполагают обращение внимания на разные детали. Реляционисты возражают против несводимости структур к сумме своих составляющих, тогда как *субстантивные* подходы полагают существование субстанций вне контекста отношений. В этом смысле синхроничный структурализм Леви-Стросса, в котором каждый термин получает свой смысл только благодаря своему месту в системе смыслов, — это приемлемая относительная онтология, как и статические формы сетевого структурализма в американской социологии. Для процессуалистов центральна гипотеза Гераклита о постоянном движении, которая подразумевает, что структуры отношений никогда не могут быть стабильными — отсюда и аналогия с танцем у Элиаса (см. далее). Многие авторы, на идеи которых я опираюсь (например, Бурдьё, Элиас, Уайт, Эббот), комбинируют оба эти элемента в то, что я называю «*процессо-реляционизмом*», чтобы подчеркнуть оба элемента и отличать его, с одной стороны, от синхроничного реляционизма Леви-Стросса (Леви-Строс, 1985) и от статичной сетевой социологии, с другой стороны — от диалектических теорий изменений.

сто того чтобы понимать ее как среду для этих процессов (medium). К тому же мы чаще говорим о памяти, нежели о процессе воспоминания, связывая ее с местом — либо в мозге, либо в обществе, с объектом, в котором она может существовать, а не пытаемся трактовать ее как процесс, воплощаемый во множестве разнообразных практик.

Процессо-реляционисты, напротив, «отвергают представления о том, что можно постулировать такие отдельные, заранее заданные объекты, как индивид или общество, в качестве начальных точек социологического анализа» (Emirbayer, 1997: 287). Скорее, «элементы или объекты, связанные с изменениями (trans-actions), черпают свой смысл, значения и тождество из (меняющихся) функциональных ролей, которые они играют в этих изменениях. Последние, будучи динамичными, развертывающимися процессами, становятся основным объектом анализа вместо образующих их элементов» (Emirbayer, 1997: 287). Бурдьё, переформулировав Гегеля, пишет: «Все действительное относительно: в социальном мире существуют только отношения — не взаимодействия агентов и не интерессубъективные связи между индивидами...» (Bourdieu, Wacquant, 1992: 97). Элиас не говорит об отдельных индивидах, а использует термин «социальные фигурации», устанавливаемые вновь и вновь сети отношений, для того чтобы описать поток социальной жизни во времени. Что такое фигурации, можно понять на примере танца: танец — единство во времени, которое нельзя свести ни к его частям (танцорам), ни к движениям, из которых он состоит. В этом смысле процессо-реляционизм более социологичен, чем субстантивизм, который предполагает наличие досоциальных категорий или явлений, существующих во время социальных интеракций, вместо того чтобы изучать, как протекают социальные процессы.

С этой точки зрения целью исследования коллективной памяти должно быть понимание фигураций памяти, т. е. меняющихся отношений между прошлым и настоящим, в которых сплетаются, хоть и не всегда гармонично, образы, контексты, традиции и интересы. Не стоит измерять коллективную память как зависимую или независимую переменную, определяемое или определяющее явление. Концептуализация памяти через явления и места упускает из виду динамику и относительность процесса воспоминания, тогда как фигурации, напротив, их сохраняют и привлекают внимание к процессам структуризации и практикам. В связи с этим я предлагаю четыре концепта: поле, средство передачи, жанр и профиль — в противовес ранее упомянутым «пагубным постулатам» (единство, мимезис, материальность, независимость). Каждое из этих понятий по природе своей относительно, и все они вместе заставляют исследователя обращать внимание на *процессы коллективного воспоминания без реификаций, гипостазирования и избыточных обобщений, присущих более ранним версиям использования термина*. Применение этой методологии в исследовании коллективной памяти показывает ее ценность в общем, поскольку процесс воспоминания, как станет ясно позже, — парадигмальный пример процессуальной логики мысли. Я проиллюстрирую каждое измерение фигураций памяти примерами. В основном я буду ссылаться на свое собственное систематическое эмпирическое исследование, касающееся Федеративной Республики Германия, где проблема коллективной памяти стоит особенно остро.

Четыре процессо-реляционных концепта

Поле

Понятие поля вводится в противовес первому «пагубному постулату» — единству и связанному с ним чрезмерно обобщающему предположению, что коллективная память — это единое, всеми разделяемое социальное достояние, которое беспрепятственно распространяется на все социальные слои. Социальные исследователи использовали понятие поля как в повседневном смысле, так и как теоретический концепт. Его базовая метафорика отсылает к месту, где проходит сражение или проводится спортивное соревнование. Расширив это понятие, его можно использовать для описания определенных сегментов общества, таких как политика или искусство, — в целом это институты. В самом деле, исследователи коллективной памяти детально разработали этот подход, для того чтобы показать, что есть множество разных типов социальной памяти, производимой в разных контекстах. Майкл Шадсон (Schudson, 1992), к примеру, в своем исследовании роли Уотергейта в американской памяти убедительно доказывает, что важно изучать то, как разные социальные институты производят разные версии прошлого и как зачастую они соревнуются друг с другом за эти версии и по поводу них. Джон Боднар (Bodnar, 1992) также критикует чрезмерную широту понятия коллективной памяти и вводит концептуальные рамки, разделяя официальные описания (например, официальные государственные) и научные описания прошлого. Согласно Боднару, важно разделить *официальную* и *народную* память отчасти потому, что, аналитически выделяя народную память, мы можем обнаружить возможности простых людей менять и оспаривать доминирующие идеологии⁹.

Похожим образом распространились термины, связанные с разными видами социальной памяти, включая семейную память, групповую память, историческую память, культурную память, официальную память, доминирующую память и популярную (folk) память. Немецкий египтолог Ян Ассманн (Assmann, 1992) тоже считает необходимым использовать другой термин, с тем чтобы избежать излишне широкой трактовки понятия коллективной памяти. Он пишет о материальной, социальной и культурной памяти. Его критика Хальбвакса (Halbwachs, 1992) во многом схожа с критикой неоянковичей и в основном направлена против предпосылки об избытке консенсуса. Существование большого количества типов коллективной памяти частично связано с тем, что они производятся в разных полях, а частично с тем, что в некоторых полях появляются разные версии. Не существует одного-единственного типа коллективной памяти, так же как нельзя считать, что один из типов — настоящий, а остальные — лишь имитации или неудачные версии. Социальное производство прошлого — почти всегда куда более сложный процесс, нежели то, что предполагает концепт коллективной памяти.

9. Совсем другим языком и для совсем других целей Фуко (Фуко, 1977) ввел концепт «контрпамяти», хотя эта идея, в свою очередь, приводит к чрезмерному обобщению разнообразия меморических противостояний и разногласий.

Хотя теоретики социальной памяти долгое время заявляли о важности дифференциации и спецификации институциональных корней образов прошлого, мы благодаря Пьеру Бурдьё (Bourdieu, 1996) можем избежать гипостазирования роли институтов. По мнению Бурдьё, «поле может быть определено как сеть или конфигурация объективных связей между позициями. Объективно определены как существование этих позиций, так и детерминации, которые они оказывают на занимающих их агентов или институции своим актуальным или потенциальным положением (*situs*) в структуре распределения различных видов власти (или капитала). Обладание последними обеспечивает доступ к специфическим прибылям, находящимся в игре в данном поле, и в то же время объективные связи с другими позициями».

Далее — и для нас это его замечание существеннее — он пишет: «В сильно дифференцированном обществе социальный космос состоит из некоторого количества таких относительно автономных социальных микрокосмов, т. е. пространств объективных отношений, которыми являются узлы логик и условий необходимости, присущие каждому полю в отдельности и несводимые к тем, что регулируют другие поля».

Такое определение поля помогает концептуализировать относительность памяти, но как быть с временным измерением, с темпоральностью? Согласно Бурдьё (Bourdieu, 1996), внутренняя структура и деятельность любого поля никогда не бывают совершенно устойчивыми. Действительно, поле — это место борьбы, его природа и правила работы всегда либо воспроизводятся, либо меняются, а значит, не могут считаться само собой разумеющимися. Борьба ведется не столько за внутреннюю структуру поля, сколько за границы и связи между полями. Как пишет Бурдьё (Bourdieu, 1996), «вопрос о границах поля крайне сложен хотя бы потому, что он проблематизируется внутри самого поля, а потому не допускает априорного ответа... Поэтому границы поля могут быть определены лишь в результате эмпирического исследования». И хотя мы можем говорить об официальной памяти или народной памяти, об исторической или письменной памяти, о публичной или приватной памяти, мы должны помнить, что и эти категории и институты, с которыми они связаны, постоянно меняются, внутри них ведется борьба вокруг памяти, которая влияет как на их внутреннюю, так и на внешнюю конфигурацию. Таким образом, в исследовании социальной памяти правомерно обращать наше внимание на то, что в разных полях по разным правилам производятся разные типы прошлого и разные процессы воспоминания вовлечены в конституирование и реконституирование границ между полями. «Мыслить в категориях полей, — отмечает Бурдьё, — значит, мыслить в терминах относительности» (Bourdieu, Wacquant, 1992: 96).

Более того, разные социальные поля, по Бурдьё, по-разному влияют на *поле власти*, которое в его описаниях оказывается своего рода метаполем. С одной стороны, говорить об одном из видов коллективной памяти как особенно сильном не значит априори предполагать, что это единственный реально существующий тип памяти, а остальные — проигравшие версии или вообще что-то другое. С другой стороны, мы можем эмпирически определить, какое поле доминирует на данный конкретный момент, помня, однако, что так же как меняется структура отношений в поле власти, меняются и иерархическая структура и границы между полями.

Чтобы прояснить, как использовать релятивистскую онтологию Бурдье в исследованиях социальной памяти, потребуются более конкретные аргументы. К примеру, когда исследуешь, как в Германии работают с памятью о нацистском периоде, сталкиваешься с некоторыми ограничениями. Можно ли установить, как все общество работает со своим прошлым? Такими поверхностными характеристиками зарабатывают на свой кусок хлеба с маслом политические аналитики. Долгое время в Германии считалось само собой разумеющимся, что 1950-е годы были временем подавления прошлого. И правда, мы часто делаем такие обобщения по поводу всего общества: скажем, когда говорим, что США не признали геноцид коренного населения Америки, или что американцы долго не могли включить вьетнамскую войну в свое «коллективное сознание». Такие обобщения работают благодаря реификациям на многих уровнях: представление нации как коллективного актора, события — как единичного элемента, памяти — как вещи, отдельных категорий — как «жертвы» и «преступника».

Прежде чем, да и вместо того, чтобы делать такие обобщения, рискующие вызвать споры об идеологических подоплеках, создающих память, процессо-реляционизм предполагает проведение систематических эмпирических исследований множества разных образов прошлого, производимых в разных социальных контекстах. Отдельных кейсов или статичных описаний будет недостаточно. Фактически все поля в немецком обществе производили образы нацистского прошлого, которые очень отличались друг от друга. Политики, художники, писатели, историки, аналитики, общества, школы, архитекторы, журналисты, семьи, индивиды представили разные образы прошлого. Иногда это похоже на разделение труда, иногда просто на разные способы выражения одной идеи, а иногда вырисовывались совершенно противоречащие друг другу картины. Попытка изобразить общий ландшафт воспоминаний привела бы либо к опасному редукционизму, либо к спорному результату. Но и более узконаправленные исследования вряд ли бы избежали условности своих категорий, основанных на отдельных случаях.

Это, конечно же, нечто большее, чем указание на преимущества исследовательского подхода перед простым высказыванием частного мнения. Важно систематически изучать и улавливать рассоединения между типами образов, производимыми в разных частях общества. Дело не просто в том, что поэт оживляет образы прошлого, журналист сообщает факты, а политик делает заявления, хотя все это тоже важно. Есть вещи, которые могут быть и бывают сказаны в одном поле, но не в другом. К примеру, у немецкого писателя больше свободы в том, чтобы признать коллективную вину, нежели у политика: у них как минимум разные «избиратели». Оппозиционный политик может быть менее осторожен и более провокативен, чем политик, занимающий должность в правительстве. Правила международной коммеморации отличаются от ностальгии в барах, хотя случалось, что они были поразительно похожи. В Западной Германии, как и в других местах, существовали четкие границы между тем, что можно говорить в публичной, а что — в приватной сфере, причем как вне поля, так и внутри него. Суть в том, что каждая из этих категорий имеет смысл только в отношении к другим и эти отношения постоянно меняются, более или менее радикально.

Хороший пример — репарационные платежи (*Wiedergutmachung*) ФРГ Израилю, по поводу которых с 1951 по 1953 год велись обсуждения и переговоры. С самого начала канцлер Конрад Аденауэр считал этот жест необходимым по множеству причин: от христианской идеи милосердия и моральных принципов политических обязательств до позиционирования Германии в «сообществе наций». Общественное мнение, напротив, выражало несогласие относительно подобных договоренностей. Так, опрос, проведенный в декабре 1952 года, показал, что 54% жителей Западной Германии не чувствовали своей вины в том, что происходило с евреями во времена Третьего рейха, и не ощущали необходимости компенсировать эти преступления. 44% по-прежнему верили, что в национал-социализме было больше хорошего, чем плохого (Merrit, Merrit, 1980: 198). Опрос 1951 года (*Jahrbuch der Öffentlichen Meinung*, 1967: 146) выявил, что только 31% населения согласился с тем, что Германия несет ответственность за войну. В другом опросе 1951 года (*Deutschkron*, 1991: 47) 68% респондентов признали, что следует помочь евреям и другим группам, но 17% из них выделили бы евреям наименьшую помощь, 49% сочли, что евреи должны получить столько же, сколько и остальные, а 21% опрошенных вообще отказал евреям в репарациях. Среди групп, которые могли претендовать на большую долю, евреи заняли последнее место, после вдов военных и сирот, оставшихся без дома после бомбежек, и депортированных. В целом лишь 11% населения одобрили достигнутое соглашение о том, чтобы выплатить более трех миллиардов марок.

Аденауэр столкнулся со значительным сопротивлением даже (и особенно) в своей партии и в своем правительстве. Оппоненты заявляли, что, во-первых, предложенная сумма чрезмерна, учитывая, что ФРГ требовались средства на перевооружение, оплату долгов и реконструкцию, а во-вторых, любое подобное соглашение встретит сопротивление со стороны членов Лиги арабских государств, которые угрожали прекратить отношения в случае ратификации договора. А вице-канцлер Франц Блюхер даже предположил, что соглашение породит антисемитские настроения (Wolffsohn, 1988: 25). 18 марта 1953 года бундестаг ратифицировал договор, но сам факт существования различных мнений по этому поводу демонстрирует различия внутри поля политики, между полем политики и полем общественного мнения, а также то, что на разных полях действуют разные правила с разными последствиями для памяти. Заботы и обязанности Аденауэра очевидно отличались от забот и обязанностей обычных людей. И хотя впоследствии, возможно, факт репарационных выплат частично изменил публичную память (свидетельством чему явилось более широкое публичное признание вины Германии и уместности выплат), нельзя утверждать, что он задал коллективную память. Кроме того, разные позиции в спорах отражали разные понимания роли Западной Германии, и одним из результатов стало распространение особого образа ответственности правительства за прошлое.

Вдобавок к разным практикам в разных полях, со временем меняются сами структуры и отношения полей. В истории Западной Германии, как и везде, шла очевидная профессионализация коммеморации внутри разных полей. И хотя социальная организация коммеморации в 1950-х годах была довольно расплывчата, границы между полями были размыты, поля подвержены множеству взаимопроникновений, со временем разные поля выработали достаточно продуманные механизмы производства

и контроля работы памяти. Разные организации приняли официальную позицию по отношению к прошлому и стали все более слаженно осуществлять производство своих репрезентаций. К примеру, с течением времени широкое распространение получила работа спичрайтеров: в 1950-х годах президент Теодор Хойс сам писал многие важные речи, часто импровизировал, комментируя то или иное событие, а в 1990-х национальный лидер давал интервью только по гайду тем для разговора, подготовленному его советниками.

В 1950-х годах политики часто были тесно связаны с интеллектуалами (первый президент Западной Германии Хойс был выдающимся интеллектуалом), однако с течением времени отношения между интеллектуальной жизнью и политикой серьезно изменились. Иногда эти изменения были результатом изменений внутри полей и в полях в целом, например, формирования социально-демократического правительства в 1960-х, которое гораздо больше вмешивалось в социальную жизнь, чем предыдущие политические режимы. А иногда изменения, как общие для всех полей, так и специфичные внутри каждого поля, были результатом более общих изменений, к примеру, усиливающейся роли медиа в жизни общества. Действительно, этот процесс как двуликий Янус: массмедиа куда больше влияют на поле власти и обладают возможностью большего контроля, и в то же время политики научились управлять своим образом и теми, кто контролирует медиа.

Следуя онтологии Бурдьё, мы должны посмотреть, как сам статус политического поля — и внутри него самого, и в отношении к другим полям — изменился с течением времени. Для того чтобы провести исследование и избежать чрезмерных обобщений, как это делают в публичных полемиках, может быть, необходимо направить свое внимание на одно конкретное поле: скажем, на официальную память, из-за ее доминирующей позиции в поле власти, или на народную память, из-за того что она противоречит официальной версии. Но делая это, следует проявлять осторожность и не принимать официальную память за коллективную, а народную — за подлинную. Ни одна из них не может быть понята без изучения других форм памяти и других элементов ситуации. К тому же не стоит предполагать, что официальная память как аспект политического поля или народная память — постоянные категории. Форма официальной памяти (внутренняя структура и внешние границы политического поля) меняется, как меняются и границы между публичным и приватным, локальным, космополитическим и национальным. Все эти изменения значительно влияют на репрезентации прошлого.

Средства передачи

Вместо того чтобы говорить о втором «пагубном постулате» — миметическом сходстве, обратим внимание на способы передачи памяти. Под вопрос ставится предположение о том, что за воплощением прошлого в некоей форме стоит какая-то абсолютная историческая правда. Постулат о мимезисе привлекает наше внимание к проблематике репрезентации и призывает рассматривать память как хранилище прошлого опыта, а процесс воспоминания — как более или менее хороший способ получить доступ к сохраненному прошлому. Мы, напротив, должны понимать, что память — это не сосуд истины (*vessel of truth*), но горнило смысла (*crucible of meaning*).

Отсюда не следует, что «то, что было на самом деле», не важно, это лишь значит, что трудно окончательно решить, что на самом деле случилось, да и важно не только это.

Историки долгое время пренебрежительно относились к памяти как к чему-то субъективному и ненадежному, тем не менее они разделяют с социальными исследователями предположение о репрезентативности прошлого. Историки предполагают, что существует некий факт, обычно в форме «события», который может быть описан с помощью «объективных» историографических процедур, и на основании этого отстаивают «истинность» своих описаний. То есть даже если память может исказить или менять прошлое, честно написанные воспоминания аутентичны, поскольку они извлечены из какого-то «подлинного» опыта. Хотя история и память относятся к событию с разных позиций истины или аутентичности, их роднит то, что, перефразируя Гертруду Стайн, они полагают: там есть некое «там»¹⁰ (there is a there there)¹¹.

За последние годы эти предположения подвергались сомнению. Во-первых, теоретики истории убедительно доказывали, что историография не только открывает, но и конструирует «правду», которую ищет. История пишется людьми в настоящем, людьми, преследующими определенные цели, и поэтому выбор и интерпретация «ресурсов» всегда произвольны. В таком случае различать историю и память по критерию правдивости не имеет смысла. Во-вторых, так как историография расширила фокус своего внимания от официальной истории к социальной и культурной, «свидетельства» памяти стали центральными¹². Записанные воспоминания уже умерших обычных людей помогают создать более подробное историческое описание, а воспоминания ныне живущих обычных людей, включая и самого историка, помогают оформлению исторического прочтения. К тому же память иногда использует историю, в которой историки пытаются найти объективные доказательства для аутентичного опыта: профессиональные историки часто предоставляли политическую легитимность национализму и прочим сконструированным идентичностям. Такое вмешательство поднимает вопросы не столько о том, насколько объективными удастся быть историкам, сколько о самой категории объективности (Novick, 1988).

10. Перефразируется отрывок из романа Гертруды Стайн «Автобиография всех». В оригинале он звучит так: «What was the use of my having come from Oakland it was not natural to have come from there yes write about it if I like or anything if I like but not there, there is no there there» («Зачем мне было приезжать из Окленда, это было ненормально приезжать оттуда, да и писать об этом, если я хочу, но не там, там нет там»). Вместо «there is no there there» Олик пишет «there is there there», что означает «там что-то есть». — *Прим. перев.*

11. Это различие в позициях истории и памяти, конечно, проистекает из длинного дискурса о связи между ними. Историки отделяют свою деятельность от памяти, считая первую лучше благодаря своей эпистемологической ориентации. Напротив, авторы вроде Мориса Хальбвакса считали, что история — это «мертвая память», прошлое, к которому мы больше не имеем непосредственного отношения. Такие авторы, как Пьер Нора, утверждали, что переход к современности повлек за собой проблематичную потерю смысла и идентичности как социальных оснований памяти. Многие другие, однако, атаковали эти философские основания различия так, что грань между историей и памятью размывалась. Возможно, наиболее полезно, писали такие ученые, как Йозеф Йерушалми (Yerushalmi, 1982), что история тоже должна стараться быть памятной, чтобы избежать «неистового роста».

12. Действительно, как пишет Патрик Хаттон (Хаттон, 2003), есть сильные логические и интеллектуально-исторические связи между критическим отношением к событиям, историей ментальностей и недавним интересом историографии к памяти.

Последние работы, написанные с постмодернистской перспективы, поставили под вопрос притязания профессиональной историографии на «истинность», проблематизировав различие между знанием и интерпретацией и, следовательно, между историей и памятью с самого первого момента их происхождения (т. е. с момента «события»). Все это происходит в рамках более обширной программы по освобождению от «фундаменталистских» или «репрезентативистских» (миметических) описаний знания (Уайт, 2002). Нет восприятия без интерпретации; нет события, которое бы не было сконструировано социальными формами; нет реальности самой по себе (there is no unmediated reality). В этом смысле историография не занимается еще не репрезентированными явлениями, которые могут быть отделены от точек зрения на них: от действий по производству смысла участвующими или от интерпретаций действующих или теми, кто интерпретирует их позже. Историкам доступны для исследования лишь репрезентации не потому, что существует недоступная познанию реальность, а потому, что ее нет.

Согласимся мы с этим постмодернистским поворотом или нет или отнесемся к нему лишь как к событию в интеллектуальной истории с сомнительным результатом, ясно, что репрезентационные формы, через которые память передает опыт, чрезвычайно важны. Поскольку не существует опыта до репрезентаций, все, с чем мы имеем дело, — это средства передачи памяти, и даже если существует какая-то абсолютная истина в событиях, средства передачи и репрезентации меняют ее в процессе доставки нам. Говоря более конкретно, прошлое всегда приходит к нам через какой-то способ передачи. Помнить, таким образом, — значит передавать сквозь время, связывать прошлое и настоящее. Медиумы памяти не второстепенны, они определяют сообщение. Эти средства передачи — текучие формы, неотделяемые и меняющиеся вместе с сообщением, которое они содержат. Процесс воспоминания — длящийся процесс передачи, а не сохранение и восстановление.

Например, у политиков в репертуаре исторических репрезентаций множество разных типов передачи. Различные средства передачи не только позволяют политикам достигать разных задач, но и требуют различного: от политика, от аудитории и от прошлого. К примеру, в середине 1980-х, неоконсервативное правительство Гельмута Коля поддержало финансирование двух музейных проектов: одного по немецкой истории в целом и одного по истории ФРГ. Проекты, однако, встретили значительное сопротивление, поскольку, по замечаниям критиков, музеи представляют образы прошлого совсем иначе, нежели политические речи, влияние которых мимолетно. Музеи и речи не только обладают разным влиянием, но и конструируют разные типы прошлого, более или менее включающие разные версии, более или менее прямолинейные, более или менее вызывающие воспоминания, более или менее гибкие. В результате нам надо понимать средства передачи в терминах того, что они делают, а не чем являются. «Речь», «жест», «музей» и прочие средства передачи прошлого не постоянны, это меняющиеся формы коммуникации и формы обобществления (forms of communication and sociation)¹³. Даже в краткосрочном периоде могут происходить серьезные изменения в том, что они могут делать и что мы подразумеваем, когда го-

13. Музей, к примеру, — это не вещь, а социальные отношения между производителем, текстом и посетителем, он непостоянен и ненеизменен, а «музеефикация» не бывает одним и тем же процессом.

ворим о них. Средства передачи — это не изолируемые формы, существующие отдельно от социальных отношений, которые они формируют, но обобщенные формы этих отношений.

Меняются не только доступные средства передачи, но и сам процесс передачи. Не только прошлое, но и характеристика прошлого, как оно представляется в музее, отличается от, скажем, представления на параде. Одни средства передачи создают постоянство, другие — повторение, третьи — постоянную смену. Одни объединяют людей, другие — разделяют; одни стремятся к верховенству (к примеру, некоторые версии научной историографии), другие поддерживают множественность. Процесс воспоминания как передачи прошлого и настоящего меняется в зависимости от контекста, технологии и эпохи. Поэтому то, какое прошлое помнят, — лишь один из вопросов наряду с более общими вопросами о том, что такое вспоминать и как это делается.

Ландшафт памяти в Федеративной Республике Германия связывает множество разных важных событий и мест, включая политические фестивали, юбилеи, руины, монументы, музеи, автобиографии, фотографии, статуи, фильмы, историографию, устную историю, архивы, законы, амнистии, репарационные соглашения и договора. В своем исследовании политики памяти в Германии Питер Райхель (Reichel, 1995) рассматривает все это как разные типы передачи памяти, отличные по критерию надежности и проблемам, которые они решают. Он описывает четыре типа: 1) политические фестивали и официальные юбилеи, которые используют эмоции для производства идентичности и интеграции (аффективные способы передачи); 2) места памяти, включая руины, монументы, музеи, а также автобиографии, письма, картинки, фотографии, которые рассматриваются с точки зрения их аутентичности как репрезентации или образов (эстетически-экспрессивные способы передачи); 3) историография, документы и исследования, которые анализируются с точки зрения истинности вклада в знание, объяснения и смыслы (инструментально-когнитивные способы передачи); и 4) наказание, амнистия, репарации и т. д., оцениваемые с позиций справедливости и производящие легитимность, реабилитацию и интеграцию (политически-моральные способы передачи). Эти типы представлены в таблице.

Мнемонические способы передачи

(адаптировано по: Reichel, 1995)

Критерий	Способ передачи	Функция
Эмоциональность (аффективный)	Политические фестивали, юбилеи	Идентичность и интеграция
Аутентичность (эстетически-экспрессивный)	Места памяти: руины, исторические места, музеи, фотографии, письма, фильмы	Репрезентация, воображение
Правда (инструментально-когнитивный)	Историография, документы, устная история, исследования	Знание: объяснение и смысл
Справедливость (политически-моральный)	Наказание, амнистия, репарация	Легитимация, реабилитация, интеграция

Ценность такой типологии в том, что она схватывает фундаментальные различия как формы, так и функций средств передачи. И хотя категории Райхеля условны и

неточны, мы тем не менее можем благодаря им оценить важность способов передачи прошлого не только с точки зрения того, как они его представляют, но и с точки зрения того, что они с ним делают.

Уникальная сила разных способов передачи прошлого очевидна на примере известного посещения Варшавского гетто Вилли Брандтом в конце 1970-х. В 1969 году социал-демократы в Западной Германии сформировали коалицию с либералами, чтобы установить первое левоцентристское правительство в истории ФРГ. Новым канцлером стал Брандт, харизматичный молодой социалист, чья биография служила примером морали и храбрости для младших поколений и одновременно вызывала подозрения у правых партий. Во время войны, прежде чем сбежать в Скандинавию, когда Германию уже нельзя было защитить, Брандт был вхож в социалистические оппозиционные круги. В изгнании он отказался от своего немецкого гражданства, чем подверг сомнению свой патриотизм.

Брандт начал карьеру канцлера с призыва к Германии: «Осмелимся на бóльшую демократию!» (*Dare more democracy*), апеллируя к риторике антиистеблишмента, свойственной новым левым. Его программа включала в себя антиэлитистскую позицию, множество социальных прав и в целом была проникнута озабоченностью об общем благе. Что самое важное, Брандт потребовал новых отношений с Востоком в ответ на неудачи в сближении, постигшие предыдущую западную интеграционную политику, и для того чтобы выразить моральную ответственность Германии перед ее прошлыми врагами — сначала на Западе, а теперь и на Востоке, несмотря на «холодную войну». С помощью программы, известной как «новая восточная политика» (*Ostpolitik*), Брандт пытался установить дружеские отношения со странами советского блока, особенно с Польшей. Он часто повторял, что Германия ответственна перед своими прошлыми врагами за страдания, которые она принесла им во времена нацизма. В этом смысле его риторика заметно отличалась от риторики его предшественников, которые говорили о строгой ограниченности ответственности за прошлое и о том, что эта ответственность уже снята благодаря репарациям Израилю и западной интеграции. Официальная позиция Брандта была ближе к позиции молодого поколения, которое требовало откровенности касательно преступлений их родителей, — молодежь обвиняла старшее поколение в подавлении памяти об этих преступлениях, хотя, конечно, быть откровенным куда легче невиновному поколению (Bude, 1992).

Брандт часто говорил об ответственности Германии, видя в новой *Ostpolitik* моральный императив. Но ему удалось выразить свое видение ответственности Германии таким образом и так сильно, как не удавалось раньше, благодаря использованию другого средства передачи. В декабре 1970 года Брандт впервые посетил Польшу в качестве канцлера Западной Германии в рамках переговоров по так называемому Варшавскому договору, нацеленному на нормализацию отношений между Западной Германией и Польшей. Интересующее нас событие лучше всего описано самим Брандтом:

«На экранах телевизоров и фотографиях в газетах я был изображен на коленях перед мемориалом памяти еврейского гетто и людей, погибших в нем...

Я ничего не планировал, но я покинул Вилянувский дворец, в котором остановился, с чувством, что я должен выразить особенную важность мемориала памяти

гетто. Чувствуя дно бездны истории Германии и бремя миллионов убитых, я сделал то, что делают люди, когда им не хватает слов.

Даже двадцать лет спустя я не могу сказать большего, чем тогда сказал один репортер: „И тогда тот, кто не должен был преклоняться, преклонился за тех, кому следовало бы преклониться, но они не сделали этого — потому что не смели, не могли или не могли сметь преклониться“» (Brandt, 1992: 199–200).

Этим простым жестом Брандт создал символ, собравший воедино множество измерений европейской истории, ответственность Германии и современную политику так, как это не было бы возможно с помощью конвенциональных политических медиумов. Жест выразил то, что не могла выразить речь, не в последнюю очередь потому, что он оставил открытой для интерпретации цель искупления Брандта: был ли это жест по отношению к евреям, полякам или в принципе ко всем жертвам агрессии? Был ли это исключительно ритуальный поступок коммеморации или обозначение будущих желаний Западной Германии? Жест был достаточно многозначным, он объединил много аспектов и понравился представителям многих аудиторий, хотя и разозлил представителей других.

Возможно, наиболее важным этапом в развитии передачи истории за последнее время стала электронная система вещания, в особенности телевидение. Действительно, многие теоретики показали важность влияния так называемых «массовых» медиа на память. Раньше, в XVIII и XIX веках, как подчеркивали Бенедикт Андерсон (Андерсон, 2001) и Джон Томпсон (Thompson, 1995), такое средство передачи информации, как книгопечатание, обладало уникальной способностью объединять разных людей в сообщества. Проводя исследования национализма Карл Дойч (Deutsch, 1966) утверждал, что национальность определяется в том числе как сильная сеть коммуникаций, сеть, распространенность которой на обширную территорию стала возможна лишь благодаря массмедиа. Способность больших групп видеть себя как сообщества памяти требует таких объединяющих средств передачи.

Обращаясь к отношению между телевидением и памятью, Дайан и Кац (Dayan, Katz, 1992) утверждают, что телевидение обладает уникальной способностью вызывать ощущение одновременности исторического опыта в обществе у разных категорий людей, позволяя тем самым возникнуть особому типу социальной памяти — разделяемой автобиографической памяти о событиях. Более того, согласно их исследованию, телевидение использует определенный набор нарративных фреймов для передачи так называемых «медиасобытий» — «завоевание», «коронация» и «соревнование». Эти фреймы производят устойчивый и значительный эффект гомогенизации аудитории. Так, телевидение позволяет индивидам испытывать ощущение сопереживания опыта и поощряет их к интерпретации этого опыта более или менее одинаковым образом. На одновременной атомизации и гомогенизации опыта заостряют свое внимание представители давней традиции критиков медиа (Gans, 1974; Rosenberg, White, 1957).

Власть массмедиа над немецкой памятью была продемонстрирована во время трансляции на немецком телевидении американского сериала «Холокост» в 1979 году, которая привлекла, кажется, больше внимания, чем любое другое коммеморативное событие в истории Западной Германии. Ведущая западногерманская газета «Шпигель» озаглавила статью об этом событии «Катарсис нации» (Der Spiegel 26, 22/6/98: 28;

Zielinski, 1986). Хотя многое в политической и социальной жизни в Германии и мире в целом повлияло на рост интереса к нацистскому прошлому в конце 1970-х — начале 1980-х годов, «Холокост» стал уникальным объединяющим событием для публичных дискуссий, привлекая огромную аудиторию и возбуждая общественное внимание. Как его поклонники, так и критики отмечали, что именно «голливудский» жанр мелодрамы смог создать уникальное чувство идентификации с жертвами, идентификации, отсутствие которой было так заметно в немецком обществе, которое намного больше знало о своих жертвах (Moeller, 1996). Из этого комментария ясно, что подобная мнемоническая деятельность, связанная с содержанием картины и с ее обсуждением в обществе, стала возможна лишь благодаря популистской и объединяющей риторике телевидения. Это только один пример того, как разные способы передачи процесса воспоминания могут менять то, что мы помним, и то, как мы помним.

Важно отметить, хотя это и не столь очевидно, что содержание воспоминаний может, в свою очередь, значительно влиять на средства передачи памяти. В историческом исследовании того, как американские массмедиа освещали обращения «О положении страны», Майкл Шадсон (Schudson, 1982: 97) отмечает: «Хотя это верно, что новые технологии обуславливают политику и общество, тем не менее новые технологии появляются и употребляются только в определенных политических и социальных обстоятельствах. То, как технология используется, связано с технологией самой по себе, но не обусловлено ею полностью». Телевидение, таким образом, как средство передачи приспособляется к определенным журналистским конвенциям, которые появились раньше, и к событиям, которые требуется освещать. В исследовании телевизионного освещения убийства Джона Кеннеди Барби Зелизер (Zelizer, 1995) пишет об этом еще подробнее: убийство Кеннеди не только было шансом для журналистики обозначить себя как важное поле производства памяти, в процессе освещения этого события были определены также конкретные журналистские конвенции и приемы (т.е. свойства телевидения как способа передачи информации, а не как поля). Средства передачи памяти и конструируют события, и конструируемы событиями, которые они передают, и за счет этого прирастают новыми смыслами. Изучение риторики различных средств передачи как внутри институциональных полей, так и в принципе, оказывается чрезвычайно важным для получения общей картины социальной памяти и понимания социальных процессов и жизни, воплощенных в любом конкретном образе. Какие средства передачи доступны, в каких полях и когда? Как эти средства передачи и их разновидности фреймов меняются в результате их использования, чтобы задавать конкретные вопросы? В том же духе многое было написано о последствиях так называемого кризиса репрезентаций Холокоста (события, а не сериала). Какие формы способны передать событие такого масштаба? Многие критики заявляют, что единственный логически последовательный вывод из опыта Холокоста заключается в том, что мы не способны понять или представить его адекватно. Вальтер Беньямин (Benjamin, 1968) уже обращал внимание на кризис репрезентации, а значит, и кризис памяти, связанный с Первой мировой войной в частности и с XX веком вообще: «Никогда еще опыт не был таким обманчивым. Опыту стратегов противоречила тактика, экономический опыт был перечеркнут инфляцией, уверенность в собственном теле поставлена под вопрос механической военной

мощью, а моральные ожидания опрокинуты действиями властей». Эти катаклизмы, согласно Беньямину, лишили людей не только условий для рассказывания историй, но и опыта, о котором можно было рассказывать. Для других наблюдателей важность сохранения памяти делает понятным развитие таких средств для передачи и сохранения прошлого, как признания свидетелей, записанные на видео, устная история и документальные фильмы. Действительно, эти попытки сохранить память о Холокосте привели к побочным эффектам — возникновению принципа виктимизации для выражения идентичности и постмодернистскому повышению ценности памяти в других контекстах (Huysen, 1995). Таким образом, средства передачи памяти — это не только относительные механизмы, они и сами попали в сложные конфигурации полей, тем и контекстов. Не только средства передачи памяти меняются в зависимости от «события», которое они передают, меняется и память как передача (требование или даже надежда на репрезентацию): средство передачи решительно меняет конкретные воспоминания и функции передачи памяти. Это также важное следствие процессореляционизма, для которого неверно не только то, что прошлое и настоящее независимы, но и то, что процесс воспоминания — неизменная практика.

Жанр

Концепт жанра соответствует третьему «пагубному постулату» о том, что социальная память — это скорее вещь, чем процесс, действительность, которую лучше всего проиллюстрировать с помощью распространенной стратегии рассматривать память как материальный объект: мы относимся не только к памяти как к вещи, но и к воспоминаниям как четко отграниченным явлениям, представляющим или воплощающим далекое историческое прошлое. Напротив, концептуализация воспоминаний как постоянно формирующихся жанров переносит наше внимание на работу памяти во времени и на ее влияние на время и тем самым позволяет избежать «процессоредукционизма».

Социологические исследования уделяли внимание изучению процесса воспоминаний вплоть до возникновения репрезентаций прошлого и разнообразию субъективных реакций людей после того, как им предложена репрезентация. Отмечалось, что возможны конфликты на почве смыслов прошлого и правильности их представления, как это произошло в случае общественной дискуссии вокруг выставки Энолы Гэй в Смитсоновском институте (Zolberg, 1998). Мы видим, что даже после того, как прошлое «зафиксировано» или воплощено в монументе, выставке или образе, зрители могут по-разному на него реагировать (Wagner-Pacifici, Schwartz, 1991). Но между производством и восприятием культуры стоит текст памяти: производство и восприятие памяти происходят через текстуальность памяти, которую можно понять, лишь обратив внимание на ее связь с другими контекстами и предыдущими событиями.

Если социологические исследования памяти часто описывают образы прошлого как обусловленные либо прошлым, которое они представляют, либо настоящим, в котором они произведены, то последние работы по этой теме настаивают на том, что мнемонические практики не создаются целиком ни в прошлом, ни в настоящем, но в непрерывном и рефлексивном взаимодействии между ними: процесс воспоминания — есть производство смысла во времени, а не производство статичных объектов

(Olick, Levy, 1997; Schwartz, 1991, 1996). О чем-то похожем я уже писал: как с самого начала процесса вспоминания образы в настоящем следуют друг за другом, постоянно воспроизводимые, исправляемые и заменяемые. Известна мантра Бахтина (Бахтин, 1997: 159–206): «Каждое отдельное высказывание — звено в цепи речевого общения... всякое высказывание, кроме своего предмета, всегда отвечает (в широком смысле слова) в той или иной форме на предшествующие ему чужие высказывания» (Бахтин, 1997: 198–199). Прошлое, которое помнят, включает не только историю, которая запоминаема, но и накопленную последовательность коммемораций: память о коммеморациях. Процесс вспоминания, в терминологии Бахтина, — это диалог, процессуальная и относительная деятельность.

Есть несколько аспектов этой «цепи речевого общения», этой неотъемлемой рефлексивности мнемонических практик. В первую очередь, как мы видели, коммеморации — это обычно не единичные события. Действительно, они часто задумываются как повторяющиеся, например, когда мы говорим о «первом ежегодном» мероприятии (Hobsbaum, Ranger, 1983). Периодичность коммемораций (единственный раз, периодически, ежегодно) — важная особенность его темпоральности, как и число и типы событий для вспоминания того или иного прошлого. В Федеративной Республике Германия, как мы видели, было несколько событий, которые отмечались снова и снова по более или менее регулярному расписанию. Политическим лидерам трудно промолчать или хотя бы привлечь внимание к своему молчанию по поводу юбилеев некоторых исторических событий. Временная рамка коммеморации — важная часть ее диалогической траектории.

Во-вторых, многие ученые отмечают, что поздние коммеморации часто включают более или менее явные отсылки к более ранним или их отголоски. Барри Шварц (Schwartz, 1996), к примеру, показывает, как похороны Кеннеди изобиловали отсылками к похоронам Авраама Линкольна. Выступающие часто цитируют, ссылаясь и не ссылаясь, речи, произнесенные их предшественниками по поводу этого или другого события. Примерно о том же писал Сандаж (Sandage, 1993), указывая на то, что появление Мартина Лютера Кинга на мемориале Линкольна напоминало появление Мариан Андерсон. Такие потенциальные отголоски прошлых событий могут быть более или менее спланированы. Во время своего визита в Польшу весной 1998-го кандидат в канцлеры от социал-демократов Герхард Шредер уклонился от посещения мемориала Варшавского гетто не для того, чтобы не признавать события, которым мемориал посвящен, но, как говорят свидетели, чтобы избежать отсылки к воспоминаниям о поступке Брандта. Что бы ни сделал Шредер, все бы померкло в сравнении, что совсем некстати для кандидата во время предвыборной кампании.

Но чтобы прошлые события влияли на последующие, отсылки не должны быть явными или осознанными. В своей книге о Федоре Достоевском Бахтин (Бахтин, 2002) различает «влияние» и то, что он называет «жанровым контактом». Первое обозначает явные следы раннего текста в последующем, последнее относится к общим для обоих текстов «способам видения». «Жанр, — писал Бахтин, — обладает своей органической логикой, которую можно в какой-то мере понять и творчески освоить по немногим жанровым образцам, даже по фрагментам» (Бахтин, 2002: 177). Более ранние тексты, в той мере, в какой они производят и воспроизводят жанр в длинной

цепи дискурса, готовят сцену и материалы для более поздних текстов. Это не значит, что говорящие — «культурные идиоты», манипулируемые дискурсами или лишь озвучивающие их. Это значит, что данные, доступные им в любом контексте (и, таким образом, доступные изменению), — это исторические приращения, результаты длительного развивающегося процесса и относительных контекстов, а не формально определенных свойств атемпоральных систем.

Важно отметить, как делал Бахтин в своей критике формализма, что жанры — это не идеальные формы, не трансцендентная грамматика, выражаемые в конкретных речевых актах: рассматривать их таким образом означало бы потерять их процессуальность — периодичность, проистекающую из этого инертность выбранного пути (path-dependency), фундаментальную диалогичность. Скорее, жанры — практические типы, определяемые «объектом, целью и ситуацией высказывания». Жанры — исторические конструкторы, появившиеся в результате «продолжительного и производительного процесса, осуществляющегося в социально-вербальном взаимодействии говорящих». Они фундаментально относительны, это отголоски прошлого поведения, которое меняет, направляет и побуждает (constrain) будущее поведение. «Будучи замороженными событиями и кристаллизованной деятельностью культуры, — пишут Морсон и Эмерсон (Morson, Emerson, 1990: 292), — жанры конституируют важную часть ее памяти и обладают большей долей ее мудрости». Демонстрируя власть жанра (включая его явную и неявную обработку (workings), мы противостояем тенденции видеть коммеморативные тексты как полностью конституируемые либо историей, к которой они отсылают, либо настоящим контекстом, в котором они произведены. В этом смысле жанры занимают рефлексивную посредническую позицию между прошлым и настоящим. Рассматривая эти жанры как исторический прирост, а не как идеальные формы, мы избегаем соблазна трансцендентализма, и в то же время сохраняем возможность типологического анализа. Элиас (Elias, 1991) писал о похожем, когда критиковал Макса Вебера. Согласно Элиасу, нет «идеальных типов», есть только «реальные типы».

Официальная риторика о нацистском прошлом в Германии произвела за пятьдесят лет после окончания войны несколько жанров памяти. Разные случаи и проблемы обеспечили официальную коммеморацию отдельных объектов, целей и ситуаций. В результате говорящие обрели особые, хотя отнюдь не абсолютно особенные, словарь, тропы, грамматические формы и другие свойства риторики для достижения разных целей, в зависимости от традиционного понимания ситуаций и современного контекста¹⁴. Действительно, природа современного контекста частично определяется отсылкой к ранним определениям и традициям. Это часть того, что имеется в виду под жанровым эффектом. Важно отметить, что хотя разные жанры могут быть связаны с разными средствами передачи и использоваться в конкретных полях, они несводимы ни к одной из этих категорий. Конкретный жанр может быть использован в разных способах передачи в разное время и в разных местах, таких как празднование в духе немецких традиций посредством речей, парада или монумента. Такой жанр может

14. Конечно, эти жанры разрастались (и разрастаются) с течением времени. Они изображали и изображают частично старые традиции, но становятся все более различимыми и точными со временем, как можно предположить, в периоды относительной институциональной стабильности.

быть частью дискурса внутри семей, школ и спортивных событий, а также в политике. В этом опять же ценность понятия фигураций, которое подчеркивает, что все эти элементы структурирования сходятся подобно потоку машин на сложной развязке.

Коллективная память, или, точнее говоря, процесс коллективного воспоминания, — это «продолжительный и производительный» процесс, используемый в «социально-вербальных взаимодействиях говорящих», пишет Бахтин. Поэтому важно изучать разные жанры, в которых производятся конкретные высказывания и которые конструируются за счет них, а также то, как эти практические типы определяются и понимаются с изменением «объектов, целей и ситуаций высказывания». Эти системы фреймов не могут рассматриваться как просто ограничения, поскольку они предоставляют важную форму и содержание для каждого нового производства. Жанры — текучие конструкторы, меняющиеся с памятью о каждом новом событии, она может просто воспроизвести его в новом контексте или фундаментально его изменить. Какие жанры привлекаются образами прошлого и в какие они вкладываются? Какова позиция каждого образа в диалоге? Это центральные вопросы в работе над социальной памятью, которая нацелена, с позиций процессо-реляционизма, на то, чтобы избежать постулата материальности, отношения к воспоминаниям как к изолированным объектам, вещам, детерминированным или детерминирующим. В рамках данного подхода воспоминания трактуются как звенья в продолжающемся процессе связывания текста и контекста, прошлого, настоящего и будущего.

Профиль

Концепт *профиля* соответствует четвертому «пагубному постулату» — независимости, согласно которому коллективная память обладает ясными демаркационными границами в политических культурах и в некотором смысле независима от них. Этот постулат лежит в основе подходов, сторонники которых задаются вопросами о том, какое влияние имеет коллективная память, или что на нее влияет, как если бы коллективная память не была интегральной частью политических культур, без которой они логически невозможны. Несмотря на акцент на жанровые траектории (т. е. на дискурсивную историчность памяти), ясно, что память должна рассматриваться как часть более общих отношений смысла и исторических стечений обстоятельств, хотя стечение обстоятельств — это скорее временная закономерность, нежели единая и неизменная синхронная структура (Abbott, 1996). Конечно, некоторые события характеризуют более сложные стечения обстоятельств, чем другие, и при попытке их понять, необходимо принимать в расчет различия между полями и разными траекториями жанров.

Так как коллективные идентичности частично конституируются их осознанием своей длительности во времени, образы прошлого почти всегда так или иначе являются определяющими свойствами политических культур, хотя в разных случаях они могут играть более или менее ведущие роли. В случае Германии образы прошлого, очевидно, были достаточно важны, хотя по-разному в разное время. Я использую понятие «профиль» для описания уникальных контуров, более или менее ровных, политических смысловых систем в конкретный момент времени. Они включают в себя разные смысловые элементы, такие как образы прошлого, требования признания той

или иной идентичности, стили риторики, принципы возлагания ответственности, атрибуции нынешней ответственности, характеристики политических стратегий, типы героев, стили, чувство внутреннего и внешнего, моральные и практические цели и процедуры. Понятие профиля используется, чтобы обозначить нередуцируемость этих смысловых систем к их отдельным элементам, необходимость рассматривать их как целое, большее, чем сумма их частей. Действительно, обобщенный и нередуцируемый характер профилей эпохи делает возможным репрезентацию периода в сильных «конденсационных символах» или эмблемах. Так, представления об эпохах лучше всего складываются по фотографиям, которые можно легко воспроизвести, широко распространить и быстро понять.

Такой подход к системам смысла имеет долгую историю. Известна, например, теория французских структуралистов о том, что смысл любого символического элемента возникает лишь как часть системы смыслов, структура которой довольно условна по отношению к обозначаемому во внешней «реальности». Если перенести эту терминологию на дискуссию о социальной памяти, то можно предположить: если мы будем анализировать представляемые образы прошлого вне их контекста, используя их либо как конкретные причины, либо как отдельные продукты, мы реифицируем процесс памяти, объективируя его воплощения и закрепляя их смыслы в манере субстанциализма. Скорее, память — это абсолютно нередуцируемая характеристика динамичных систем политических смыслов, через которые выражаются и дискутируются идентичность и легитимность. Здесь можно также вспомнить о том, что теоретики социальных движений часто используют понятие «*фрейм*», чтобы подчеркнуть нередуцируемость интерпретативных целых к их символическим элементам. Тем не менее понятие фреймов (или фреймирования) может подразумевать единую когнитивную структуру, и новые фреймы часто волей-неволей в этих описаниях заменяют старые. Я, напротив, предполагаю, что понятие профиля будет учитывать появления и текучесть, а не будет фреймирующим концептом, и особо подчеркиваю инертность в изменениях профиля. Акцент на нередуцируемые профили контрастирует с конвенциональными концептуализациями политики через интересы. Фокусирование на профилях начинается с предпосылки, что политика — это нечто большее, чем ответы на вопросы, кто, что, где, когда и как получает, поскольку эти вопросы часто игнорируют символическое измерение политики и конституирование политических интересов. В лучшем случае они подразумевают, что символы (и исторические образы как особенно выделяющиеся символы) — лишь инструменты в борьбе за ресурсы (Edelman, 1967). Объяснять политические символы как репрезентации преследования интересов или соответствующие инструменты — значит, рассматривать интересы как внешние по отношению к политической культуре, а символы — лишь как выразительные средства.

Процессо-реляционный подход к мнемоническим перипетиям (*mnemonic conjunctures*), напротив, трактует смысл и идентичность как цели политики, а не просто ее средства или контекст. Коллективная память, таким образом, — это не просто причина или продукт того, что действительно происходит, но часть процесса самоопределения, в котором состоит вся суть политики, даже когда кажется, что она нацелена на какие-то более осязаемые результаты. Не будучи ни инструментом для

преследования интересов, ни «основанием» идентичности, процесс вспоминания — основная среда, в которой идут общественные обсуждения и споры по поводу идентичности и интересов. Процессо-реляционная перспектива отвергает онтологическое различие между интересами и идентичностью.

Как станет ясно далее, смысл любого образа прошлого или мнемонической практики недоступен вне его современного контекста, так же как понятие жанра демонстрирует, что смысл недоступен вне истории. Рассматривать его таким образом, означало бы видеть в репрезентациях логические, а не социальные процессы, все денотации, а не коннотации, непроблематично переносимые из одного контекста в другой. Даже символы или образы, которые якобы остаются такими с течением времени, могут на самом деле довольно серьезно меняться по своей важности, по области отсылок, применимости, понятности и уместности. Само по себе действие припоминания уникально, так как ситуация, в которой оно происходит, и образы или объекты, производимые им, не только неинтерпретируемы вне этой ситуации, но и являются частью ее определения. Использование профилей в такой нередацируемой манере ни в коем случае не противоречит вниманию к разным полям, способам передачи и жанрам процесса вспоминания. Внимание к профилю указывает на совокупность отношений полей, средств передачи и жанров — фигураций памяти. Таким образом, профиль укрепляет реляционизм, неотъемлемый от концепта фигураций, и нисколько не отрицает его процессуальность, конечно, если мы вслед за Мишелем де Монтенем будем помнить, что «стабильность — это не что иное, как более слабое движение».

Согласно моему анализу, в Западной Германии с 1949 по 1989 год существовало три основных официальных профиля (фотография 1). В каждом из них важны образы прошлого, хотя и в разное время по-разному. Сначала образ «надежной нации» (*reliable nation*) охватывал период с основания Федеральной Республики в 1949 году до Большой коалиции в конце 1960-х. В этот период нацистское прошлое было сконструировано как ограниченное во времени отклонение от истинного курса истории Германии. Риторический стиль лидеров, говорящих об этом периоде, был защищающимся, оправдывающимся и репрессивным. Причины нацизма связывались с недостатками конституции и нестабильностью демократии в Германии тех лет. Эти проблемы были «решены» (хотя и временно) с установлением Федеративной Республики. По утверждению лидеров Западной Германии, их государство и общество были надежными. Они пытались продемонстрировать это официальным жестом репараций Израилю, желанием интегрироваться с Западом и заботой о правах человека, хотя и сопротивлялись разным формам «денацизации», люстрации и судебных преследований. Во время этого периода образы прошлого поэтому формировали центральный, хотя и ограниченный, узел политической культуры. В основе этого профиля лежала переориентация других аспектов политической культуры, а также курса политики, переформулировка институционального контроля и приоритетов. Изменения были серьезными и минимальными одновременно, что проявлялось в риторике цезуры множества реставраций (Herf, 1997).



Фотография 1. Генерал США в отставке Мэтью Риджвей (в центре слева) и генерал Германии Йоханнес Штейнхофф (в центре справа), а также президент США Рональд Рейган (слева) и канцлер Германии Гельмут Коль (справа) в Битбурге, 5 мая 1985

Профиль «надежной нации» удивительным образом воплощен в фотографии, запечатлевшей формальную церемонию по поводу основания Республики (фотография 2) 2 сентября 1949 года, во время которой члены межсоюзнической комиссии по оккупированным в Германии областям должны были передать оккупационный статут, а Аденауэр должен был представить свое правительство. Аденауэру и членам его правительства надлежало ждать на краю ковра, в центре которого стояли три представителя комиссии (сэр Брайан Робертсон, Андре Франсуа-Понсе и Джон Дж. Макклой), в знак своего подчиненного положения. Однако Аденауэр шагнул прямо на ковер, демонстрируя нежелание принимать подобное определение позиций. Прошлое не довело над его правительством, которое заявляло о решительном идеологическом и институциональном разрыве с нацизмом и со старыми традициями центральноевропейской антипатии по отношению к Западу. Резкая позиция Аденауэра, известная как «*ковровая политика*» (*Teppichpolitik*), была характерна для его работы и риторики до окончания действия оккупационного статута в мае 1955-го и в течение всего его пребывания в должности канцлера.

Во-вторых, «моральная нация» началась с идеи социал-демократов об общей ответственности правительств в Великой коалиции 1966–1969 годов и получила свое миниатюрное воплощение в социал-либеральной коалиции канцлера Брандта в 1969–1974 годах. В это время нацистское прошлое рассматривалось как важная характеристика истории Германии, чьи структурные и культурные следы не были еще до конца изжиты. Лидеры распространяли ответственность на все народы как на



Фотография 2. *Коверная политика. Конрад Аденауэр представляет свое правительство, сентябрь 1949*

наследников преступлений Германии. Историческая риторика была обобщающей и расплывчатой и нацелена на долгосрочные социально-структурные образцы. Тем не менее комплексность памяти была минимизирована, так как политическая культура зависела от требований нового поколения и политики реформ. Прошлое, или хотя бы его отрицание, было мотивирующим фоном и частой темой, но, кажется, никогда не фокусом само по себе.

Центральное изображение «моральной нации» — и позитивное, и негативное одновременно — это драматическая фотография уже описанного коленопреклонения Брандта перед монументом в Варшавском гетто (фотография 3). Как уже упоминалось, этот жест олицетворял признание отдельных исторических долгов Германии (евреям, полякам и миру в целом) в попытке добиться прогрессивной программы реформ как внутри страны, так и международных. Для сторонников, которых, кажется, было большинство, это изображение означало должное дистанцирование от неустойчивости и резкости эры Аденауэра. Позже консервативные критики воспринимали это как то, что их не устраивало в так называемой политике 1968 года: Германия стоит на коленях. Независимо от того, как его оценивать — положительно или отрицательно, — это изображение воплощает для многих «дух времени», или, я бы сказал, *профиль* эры — включая дух общей ответственности, новое отношение к старым структурам, идеям, лояльностям и нацеленность на прогрессивную политику.



Фотография 3. Вилли Брандт перед монументом в Варшавском гетто, 1970

«Нормальная нация» началась после того, как к власти в 1975 году пришел Гельмут Шмидт, и несмотря на важные изменения, произошедшие с приходом к власти в 1982-м христианских демократов Коля, продолжилась и усилилась в 1980-х. В это время нацистское прошлое рассматривалось как одна из многих исторических эпох в длительной и достойной истории Германии. Риторический стиль исторической дискуссии был релятивистским, нормализационным и ревизионистским, ношу Германии стало модно сравнивать с другими странами. Неоконсервативное руководство пыталось изменить историческое сознание, что было частью программы культурных реформ, нацеленных на усиление легитимации через идентичность.

Возможно, центральным событием этого периода был инцидент в Битбурге. Канцлер Коль пригласил американского президента Рональда Рейгана поучаствовать в церемонии примирения у могил на военном кладбище в Битбурге, проводящейся в честь сороковой годовщины окончания войны. Сопrotивление по отношению к визиту и его подтексту — время оставить историю позади — достигло апогея, когда выяснилось, что сорок девять солдат войск СС — организации, признанной виновной на Нюрнбергском процессе, также похоронены в Битбурге. Но церемония была очень важна для неоконсервативных сторонников Коля (которые только что бились за развертывание американских ядерных боеголовок среднего радиуса на территории Германии) и для граждан Германии, которые всегда хотели видеть в своих отцах, сыновьях и братьях обычных солдат-патриотов. Образы немецкого и американского генералов Второй мировой войны, обменивающихся рукопожатием на немецком военном кладбище, и стоящие за ними канцлер Коль с президентом Рейганом символизировали для многих долгожданный новый статус Западной Германии. Став лояльным партнером, она обрела «должное» уважение и «соразмерную» власть, невзирая на ужасное, но все же далекое прошлое, в котором, по словам канцлера Коля, границы между преступниками и жертвами уже незначимы.

Важная связь между памятью и профилем станет еще заметнее, если приглядеться к тому, как образы и практики осмысливаются только в их контексте. Определен-

ные слова могут служить в качестве мнемонического громоотвода внутри одного профиля и не привлекать особого внимания к другим. К примеру, слово «Отечество» (Vaterland) играло в разные эпохи истории Германии разные роли. В нацистский период и даже раньше оно напоминало о конструкте этнической идентификации, созданном романтической эпохой, и служило для противопоставления немецкой идеи «принадлежности» родине «безродному космополитизму» (vaterlandlose Gesellen), более близкому сторонникам рационального Запада (такими в основном считались социал-демократы). В эпоху Аденауэра слово «Отечество» использовалось в менее полемическом смысле, обозначая природный патриотизм и чувство гражданской ответственности и не привлекая особого внимания. К 1960–1970-м годам, когда политическая интеграция ФРГ с Западом переросла в интеллектуальную интеграцию, «Отечество» стало звучать реже обычного. Вероятно, лучше всего это проявилось в усилиях социал-демократического правительства в начале 1970-х измерить чувство национального единства с помощью опроса (Schweigler, 1975). Тогда, вместо того чтобы оставаться незыблемой формой идентификации, национальная идентичность была реконцептуализирована в либеральном духе как «повседневный плебисцит» (термин, используемый вслед за Джоном Локком Эрнестом Ренаном). К 1980-м годам тем не менее «родина» вернулась, чтобы «отомстить». Это ярко описал Ральф Дарендорф в «Размышлениях о революции в Европе»: «Мало какие слова Гельмут Коль любит так же сильно, как „Отечество“. Чтобы подсластить его глубокое, практически вагнеровское звучание, он добавляет к нему прилагательное *wunderschön* (дивный). „Наше удивительно красивое Отечество“ — вот о чем он. Что именно значит это слово, сказать не так-то просто; но оно точно раздражает критичные умы» (Dahrendorf, 1990).

Возвращение «Отечества» в риторике Коля (он использовал его часто) — часть более общего профиля гордой немецкой идентичности, основанной на возрождении исторического сознания.

Исторические эпохи демонстрируют отдельные дискурсивные профили, которые включают в себя образы прошлого, претензии на легитимность и другие политико-культурные смыслы, и чтобы понять подобные мнемонические практики, их надо рассматривать только в контексте нередуцируемой тотальности. В 1950-е годы особый набор образов прошлого значительно повлиял на новые институты и политику. В 1960-е смена поколений конституировала и была конституирована революцией в памяти. В 1980-е более общая институциональная и культурная болезнь заставила обратиться к прошлому за исцелением, чувствовался недостаток прошлого, «готового к использованию». Ясно, что образы прошлого — это не просто продукты политических культур и контекстов или их причина. Скорее, официальная память изменяет и подвергается изменению комплексными культурными процессами, в которых элементы интегрально связаны. В таком случае социологическое исследование памяти не просто ставит вопрос о том, что детерминирует коллективную память или даже что делает коллективная память как идентифицируемая переменная (она делает сразу много вещей), но и о том, как она работает внутри символических систем в качестве источника смысла и идентичности, пусть и по-разному в разное время. Такие же образы могут нести разные смыслы в разных контекстах, и разные образы могут служить

одной функции в новой ситуации. Поэтому ситуативное описание официальных воспоминаний как интегральных элементов в политико-культурных профилях избегает опасности редукционизма, присущего более конвенциональным подходам, а также инструменталистских и субстанционалистских предпосылок независимости отдельных элементов или «переменных».

Таким образом, применение терминологии политико-культурных профилей в приложении к коммеморативной политике аналитически не выделяет отдельные элементы и их причинные связи. Это еще один повод отказаться от анализа через независимые и зависимые переменные, которые используют многие научные социальные исследования памяти. Понятие профиля сводит коммеморативные значения с контекстом в единое целое и позволяет обращать внимание на некоммуеморативные и недискурсивные условия. Поэтому невозможно определить, когда память — причина, а когда — результат. Память действует, но действует внутри контекстов, а не по отношению к ним.

Заключение

Моя цель заключается в том, чтобы предложить несколько разных способов ослабить тенденцию реификаций и избыточных обобщений применительно к коллективной памяти, переинтерпретировать ее так, чтобы подчеркнуть свойственные ей процессуальность и относительность. «Логический метод и форма, — пишет Оливер Уэнделл Холмс, — поддразнивают желание определенности и спокойствия, которое испытывает каждый человеческий разум». Тем не менее он добавляет: «Определенность — это, в общем, иллюзия, а спокойствие не является предназначением человека». Память, как отмечают ее историки, особенно выделяется тогда, когда определенность и спокойствие кажутся особенно необычными, когда прошлое, говоря словами Дэвида Лоуэнтала (Лоуэнталь, 2004), становится «чужой страной». Поэтому интерес к памяти — симптом своей собственной невозможности. «Коллективная память, — пишет Робин Вагнер-Пацифиси (Wagner-Pacifici, 1996), — по сути своей обязана быть временной, знают об этом помнящие или нет». И исследователи памяти порой кажутся не более чувствительными к этому, чем помнящие.

Мое переосмысление понятия коллективной памяти, представленное выше, преследовало две цели. В первую очередь я пытался продемонстрировать достоинства (а на самом деле — необходимость) процессо-реляционного подхода к коллективной памяти в эмпирической работе, цель которой — понять мнемонические практики, оставаясь аналитически отличной (хотя и необязательно не связанной с ней) от политики памяти. Я предложил набросок транспонируемой методологии для научной работы над социальной памятью, которая соответствует фундаментальной для памяти историчности и комплексности, понимая ее как множество мнемонических форм и практик, а не единый феномен. На первый взгляд эта попытка предполагает обширный аппарат дополнительных понятий (таких как *поле*, *средство передачи*, *жанр* и *профиль*), а также эмпирических категорий вроде официальной, народной, публичной и приватной памяти; аффективных, эстетически-экспрессивных, инструментально-когнитивных и политико-моральных средств передачи; жанров нормаль-

ной легитимации, немецких традиций, немецких жертв и жанров немецкой вины; надежного, морального и нормального профилей. Но если присмотреться, станет очевидно, что эти концепты и категории связаны с меньшей путаницей, чем их всеобъемлющая альтернатива.

Четыре контрконцепта отвечают на реификацию и избыточную обобщенность субстанционалистского понятия коллективной памяти, привлекая внимание к реляционным и процессуальным фигурациям памяти. И глагольная, и существительная формы слова «фигурация» (*a figure* — изображение, *to figure* — изображать) здесь релевантны. Поля (и реляционные системы полей), средства передачи, жанры и профили — все они изменяют (и в самом деле конституируют) мнемонические практики. Различные структурные силы, которые здесь действуют, часто не замечались как концептуально, так и эмпирически, особенно в бесплодных дебатах между презентистскими (*presentist*) и традиционалистскими позициями в социологии памяти (Olick, Robbins, 1998; Schudson, 1989; Schwartz, 1991). Действительно, эта бесплодность простирается на территории всей социологии культуры в целом, которая обычно попеременно занимается производством и восприятием культуры, отбрасывая культурную текстуальность и взаимное конституирование текста и контекста (Bourdieu, 1996).

Выше я пытался показать, что мнемонические практики структурированы как отдельные, но идущие внахлестку поля, средства передачи, жанры и профили другими такими же полями, средствами передачи, жанрами и профилями и привлечь внимание к уникальным результатам такой классификации, рассматривая эти «структурирующие структуры» (Giddens, 1984) не как идеальные формы, а как эмпирические исторические приращения. Поля, средства передачи, жанры и профили — это не разные вещи и вообще не вещи, а разные способы структурирования практик. Вместе они производят фигурации памяти, т. е. сложноструктурированные и постоянно меняющиеся паттерны образов и смыслов, несводимых ни к заданной форме изображения, ни к контексту настоящего или к событию в прошлом.

Подчеркивая важность процессо-реляционного подхода к коллективной памяти, помимо всего прочего, я хотел продемонстрировать важность тематики коллективной памяти для современной социологии, работающей в ключе процессо-реляционизма. Процессо-реляционная критика появилась в разных областях, но пожалуй, наиболее заметна она стала в последнее время в исторической социологии. В недавнем сборнике статей по так называемому историческому повороту в гуманитарных науках (*The historic turn*, 1996), к примеру, заявляется, что общий для социальных наук поворот к истории, будучи полезным, в целом не смог историцировать свои собственные понятия. Сьюэлл (Sewell, 1996: 246) пишет: «Если историческая социология — это просто социология прошлого, она чрезвычайно ценна, поскольку увеличивает количество доступных данных... Но разве история — это просто ресурс для большего числа данных? Не подразумевает ли включение в социологию исторического измерения введения идей темпоральности, которые абсолютно чужды привычному социологическому мышлению..?» Историческая социология, как показывает Сьюэлл, хотя и в других терминах, была таким же объектом для процессо-редукционизма, как и другие направления дисциплины.

Выдвинув идею (частично на основе работы Элиаса) исторического понимания исторической социологии, которое стало ближе к истине, Филипп Абрамс (Abrams, 1982: 2) пришел к выводу, что «социологическое объяснение обязательно исторично. Историческая социология в таком случае — не какой-то вид социологии, скорее это сущность дисциплины... какой бы реальностью общество ни обладало, эта реальность исторична, она протяженна во времени». Многие ученые, которых можно назвать «*новые темпоралисты*» (в частности, Эндрю Эбботт), похожим образом критиковали конвенциональный словарь социологического анализа, в особенности «*временные*» и «*причины*» как неисторичные реификации. В противовес «стандартной модели» и «общей линейной реальности» (general linear reality) (во многом это просто другие обозначения субстантивизма) Эбботт ратует за социологию, которая бы адекватно воспринимала социальные процессы как темпоральные по своей природе. Время — это не внешний контекст социальной жизни; социальная жизнь темпоральна во всех своих проявлениях.

Поэтому для социологии важна не только история, но и историчность. И поэтому так важна память. Память не только, как я показывал, процессуальна и относительна; социальные процессы и отношения — мнемоничны. Это-то и значит, что социальные процессы темпоральны. Как пишет Абрамс: «Справедливо отнестись к реальности истории не значит только замечать то, что прошлое обуславливает настоящее. Это вопрос того, чтобы рассматривать, как люди в настоящем стремятся создать будущее из прошлого. Для этого надо видеть, что прошлое — это не просто исток настоящего, но единственный сырой материал, из которого настоящее может быть создано». Память как связь прошлого и настоящего — это основная способность для существования во времени, через которую мы определяем индивидуальных и коллективных себя: «Я, энтелехия, — как думал Стивен Дедал в романе Джеймса Джойса, — форма форм, сохраняю я с помощью памяти...»

Эмпирически, как мы видели, надо сразу замечать, а не додумывать потом условность, инертность и относительность важнейших категорий социальной организации и концептуализации. В случае кейса Германии, как и в других случаях, это значит принимать за аксиому условность таких категорий поля, как публичность и приватность, внутренние дела государства или интернациональность, официальность или народность, а также то, что разные типы процесса вспоминания в этих полях подразумеваются в самой конструкции данных категорий. Это значит принимать во внимание изменения фигураций доступных в этих временных полях средств передачи информации, способов разных средств передачи воспоминаний, которые конституировали эти поля, и изменение способов, которыми они конституируют средства передачи прошлого. Это значит принимать во внимание как кратко-, так и долгосрочные универсальные ресурсы и ограничения для процесса вспоминания в разных полях с разными средствами передачи. И это значит принимать во внимание, что мнемонические практики — не специальные действия вне их контекста, а часть наших усилий по производству смысла и организации жизни в целом. Помнить — это не деятельность, которая может быть выведена за скобки как независимая или зависимая переменная: это деятельность и средство передачи и результат социальных фигураций в целом. Таким образом, осознание историчности процессов лежит в основе нашего

понимания памяти и того, как память изменяется. В свою очередь, осознание конститутивной роли памяти является центральным для нашего понимания того, что историчность (и сходным образом историческая социология) влечет за собой.

Литература

- Андерсон Б. (2001). Воображаемые сообщества: размышления об истоках и распространении национализма / пер. с англ. В.Г. Николаева. Москва: КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле.
- Ассман Я. (2004). Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / пер. с нем. М.М. Сокольской. Москва: Языки славянской культуры.
- Бахтин М.М. (1997). Проблема речевых жанров // Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 5: Работы 1940–1960 гг. Москва: Русские словари. С. 159–206.
- Бахтин М.М. (2002). Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 6: «Проблемы поэтики Достоевского». Работы 1960–1970 гг. Москва: Русские словари; Языки славянской культуры. С. 5–300.
- Кассирер Э. (1912). Познание и действительность: понятие о субстанции и понятие о функции / пер. с нем. Б. Столпнера, П. Юшкевича. Санкт-Петербург: Шиповник.
- Леви-Строс К. (1985). Структурная антропология / пер. с франц. В.В. Иванова. Москва: Наука.
- Лоуэнталь Д. (2004). Прошлое — чужая страна / пер. с англ. А.В. Говорунова. Санкт-Петербург: Владимир Даль.
- Уайт Х. (2002). Метаистория: историческое воображение в Европе XIX в. / пер. с англ. Е.Г. Трубиной и др. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета.
- Хальбвакс М. (2007). Социальные рамки памяти / пер. с франц. С.Н. Зенкина. Москва: Новое издательство.
- Хаттон П. (2003). История как искусство памяти / пер. с англ. В.Ю. Быстрова. Санкт-Петербург: Владимир Даль.
- Abbott A. (1988). Transcending general linear reality // *Sociological Theory*. Vol. 6. № 2. P. 169–186.
- Abbott A. (1992). What do cases do? Some notes on activity in sociological analysis // *What is a case? Exploring the foundations of social inquiry* / ed. by Ch. C. Ragin and H. S. Becker. Cambridge: Cambridge University Press. P. 53–82.
- Abbott A. (1996). Things of boundaries // *Social Research*. Vol. 62. № 4. P. 857–882.
- Abrams P. (1982). *Historical sociology*. Ithaca: Cornell University Press.
- Alonso A.M. (1988). The effects of truth: re-presentations of the past and the imagining of community // *Journal of Historical Sociology*. Vol. 1. № 1. P. 33–57.
- Aries E. (1974). *Western attitudes toward death: from the Middle Ages to the present* / trans. P.M. Ranum. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Bellah R.N., Madsen R., Sullivan W., Swidler A., Tipton S.M. (1985). *Habits of the heart: commitment and individualism in American life*. New York: Harper and Row.
- Bender J., Ellerby D.E. (1991). *Chronotypes: the construction of time*. Stanford: Stanford University Press.
- Benjamin W. (1968). The storyteller: reflections on the works of Nikolai Leskov // *Benjamin W. Illuminations* / trans. H. Zohn. New York: Schocken. P. 83–109.
- Berger S. (1997). *The search for normality: national identity and historical consciousness in Germany since 1800*. Oxford: Berghahn Books.

- Berman M.* (1982). All that is solid melts into air: the experience of modernity. New York: Penguin.
- Blumer H.* (1969). Symbolic interactionism: perspective and method. Berkeley: University of California Press.
- Bodnar J.* (1992). Remaking America: public memory, commemoration, and patriotism in the twentieth century. Princeton: Princeton University Press.
- Bourdieu P., Wacquant L.J.D.* (1992). An invitation to reflexive sociology. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
- Bourdieu P.* (1990). The logic of practice / trans. R. Nice. Stanford: Stanford University Press.
- Bourdieu P.* (1993). The field of cultural production: essays on art and literature. New York: Columbia University Press.
- Bourdieu P.* (1996). The rules of art: genesis and structure of the literary field / trans. S. Emanuel. Stanford: Stanford University Press.
- Brandt W.* (1992). My life in politics. New York: Viking.
- Bude H.* (1992). Bilanz der Nachfolge: Die Bundesrepublik und der Nationalsozialismus. Frankfurt: Suhrkamp.
- Butler T.* ed. (1989). Memory: history, culture and the mind. New York: Blackwell.
- Collective memory of political events: social psychological perspectives. (1997) / ed. J.W. Pennebaker, D. Paez, B. Rime. Mahwah: Erlbaum Associates.
- Collective remembering. (1990) / ed. D. Middleton and D. Edwards. Newbury Park: Sage.
- Commemorations: the politics of national identity. (1994) / ed. J. Gillis. Princeton: Princeton University Press.
- Coser L.* (1992). Introduction // *Halbwachs M.* On collective memory / trans. L. Coser. Chicago: University of Chicago Press. P. 1–34.
- Dahrendorf R.* (1990). Reflections on the revolution in Europe. New York: Random House.
- Dayan D., Katz E.* (1992). Media events: the live broadcasting of history. Cambridge: Harvard University Press.
- Deutsch K.* (1966). Nationalism and social communication: an inquiry into the foundations of nationality. Cambridge: MIT Press.
- Deutschkron I.* (1991). Israel und die Deutschen: das schwierige Verhältnis. Cologne: Wissenschaft und Politik.
- Dohrn-van Rossum G.* (1996). History of the hour: clocks and modern temporal orders / trans. Th. Dunlap. Chicago: University of Chicago Press.
- Durkheim E.* (1961). The elementary forms of the religious life / trans. J. Swain. New York: Collier Books.
- Edelman M.J.* (1967). The symbolic uses of politics. Urbana: University of Illinois Press.
- Elias N.* (1978). What is sociology? / trans. S. Mennell and G. Morrissey. New York: Columbia University Press.
- Elias N.* (1991). The symbol theory. London: Sage.
- Emirbayer M.* (1997). Manifesto for a relational sociology // *American Journal of Sociology*. Vol. 103. № 2. P. 281–317.
- Foucault M.* (1977). Language, counter-memory, and practice / trans. D. F. Boucahrd and Sh. Simon. Ithaca: Cornell University Press.
- Gans H.J.* (1974). Popular culture and high culture: an analysis and evaluation of taste. New York: Basic Books.
- Giddens A.* (1984). The constitution of society: outline of the theory of structuration. Cambridge: Polity.
- Goody J.* (1986). The logic of writing and the organization of society. New York: Cambridge University Press.

- Hacking I.* (1995). *Rewriting the soul: multiple personality and the sciences of memory.* Princeton: Princeton University Press.
- Halbwachs M.* (1992). *On collective memory* / trans. L. Coser. Chicago: University of Chicago Press.
- Handler R.* (1994). Is identity a useful cross-cultural concept? // *Commemorations: the politics of national identity* / ed. J. Gillis. Princeton: Princeton University Press. P. 27–40.
- Herf J.* (1997). *Divided memory: the Nazi past in the two Germanys.* Cambridge: Harvard University Press.
- Hobsbawm E.J.* (1972). The social function of the past: some questions // *Past and Present.* Vol. 55. P. 3–17.
- Huyssen A.* (1995). *Twilight memories: marking time in a culture of amnesia.* New York: Routledge.
- Iggers G.G.* (1983). *The German conception of history: the national tradition of historical thought from Herder to the present.* Middletown: Wesleyan University Press.
- Jahrbuch der Öffentlichen Meinung, 1965–1967* / hrsg. von E. Noelle und E. P. Neumann. Allensbach: Allensbacher Institut, 1967.
- Kern S.* (1983). *The culture of time and space, 1880–1918.* Cambridge: Harvard University Press.
- Koselleck R.* (1985). *Futures past: on the semantics of historical time* / trans. K. Tribe. Cambridge: MIT Press.
- Le Goff J.* (1992). *History and memory* / trans. S. Randall and E. Claman. New York: Columbia University Press.
- Leroi-Gourhan A.* (1993). *Gesture and speech* / trans. A. Berger. Cambridge: MIT Press.
- Mann M.* (1993). *The sources of social power: the rise of classes and nation-states, 1760–1914.* Vol. 2. New York: Cambridge University Press.
- Matsuda M.K.* (1996). *The memory of the modern.* New York: Oxford University Press.
- Memory and history in twentieth century Australia.* (1994) / ed. K. Darian-Smith and P. Hamilton. Melbourne: Oxford University Press.
- Merritt A.J., Merritt R.L.* (1980). *Public opinion in semisovereign Germany: the HICOG Surveys, 1949–1955.* Urbana: University of Illinois Press.
- Moeller R.G.* (1996). War stories: the search for a usable past in the Federal Republic of Germany // *American Historical Review.* Vol. 101. № 4. P. 1008–1048.
- Morson G.H., Emerson C.* (1990). *Mikhail Bakhtin: creation of a prosaics.* Stanford: Stanford University Press.
- Nietzsche F.* (1997). On the uses and disadvantages of history for life // *Nietzsche F. Untimely meditations* / trans. R.J. Hollingdale. New York: Cambridge University Press. P. 57–124.
- Les Lieux de mémoire.* 7 vols. (1992) / éd. P. Nora. Paris: Gallimard.
- Novick P.* (1988). *That noble dream: the «objectivity question» and the American historical profession.* New York: Cambridge University Press.
- Olick J.K., Levy D.* (1997). Collective memory and cultural constraint: Holocaust myth and rationality in West German Politics // *American Sociological Review.* 1997. №62. P. 921–36.
- Olick J.K., Robbins J.* (1998). Social memory studies: from «collective memory» to the historical sociology of mnemonic practices // *Annual Review of Sociology.* Vol. 24. P. 105–140.
- Ong W.* (1982). *Orality and literacy: the technologizing of the word.* London: Methuen.
- Reichel P.* (1995). *Politik mit der Erinnerung: Gedächtnisorte im Streit um die Nationalsozialistische Vergangenheit.* München: Carl Hanser.
- Rosenberg B., White D.M.* (1957). *Mass culture: the popular arts in America.* New York: Free Press.

- Sandage S.A.* (1993). A marble house divided: the Lincoln Memorial, the civil rights movement, and the politics of memory, 1939–1963 // *Journal of American History*. Vol. 80. № 1. P. 135–167.
- Schieder T.* (1978). The role of historical consciousness in political action // *History and Theory*. Vol. 17. № 4. P. 105–113.
- Schudson M.* (1982). The politics of narrative form: the emergence of news conventions in print and television // *Daedalus*. Vol. 111. № 4. P. 97–112.
- Schudson M.* (1989). The present in the past versus the past in the present // *Communication*. 1989. Vol. 11. № 2. P. 105–114.
- Schwartz B.* (1991). Social change and collective memory: the democratization of George Washington // *American Sociological Review*. Vol. 56. № 2. P. 221–236.
- Schwartz B.* (1996). Memory as a cultural system: Abraham Lincoln in World War II // *American Sociological Review*. Vol. 61. № 5. P. 908–927.
- Schweigler G.* (1975). *National consciousness in divided Germany*. Beverly Hills: Sage.
- Sewell W.H.* (1996). Three temporalities: toward an eventful sociology // *The historical turn in the human sciences* / ed. T.J. McDonald. Ann Arbor: University of Michigan Press. P. 245–280.
- Shils E.* (1981). *Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Sturkin M.* (1997). *Tangled memories: the Vietnam War, the AIDS epidemic and the politics of remembering*. Berkeley: University of California Press.
- Terdiman R.* (1993). *Present past: modernity and the memory crisis*. Ithaca: Cornell University Press.
- The historic turn in the human sciences. (1996) / ed. by T.J. McDonald. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- The invention of tradition. (1983) / ed. by E. Hobsbawm and T. Ranger. New York: Cambridge University Press.
- Thompson J.B.* (1995). *The media and modernity: a social theory of the media*. Stanford: Stanford University Press.
- Tilly Ch.* (1984). *Big structures, large processes, huge comparisons*. New York: Russell Sage.
- Wagner-Pacifi R.* (1996). Memories in the making: the shape of things that went // *Qualitative Sociology*. Vol. 19. № 3. P. 301–322.
- Wagner-Pacifi R., Schwartz B.* (1991). The Vietnam Veterans Memorial: commemorating a difficult past // *American Journal of Sociology*. Vol. 97. № 2. P. 376–420.
- Wolffsohn M.* (1988). *Ewige Schuld? 40 Jahre Deutsch-Jüdisch-Israelische Beziehungen*. München: Piper.
- Wuthnow R., Witten M.* (1988). New directions in the study of culture // *Annual Review of Sociology*. Vol. 14. P. 49–67.
- Yates F.A.* (1966). *The art of memory*. Chicago: University of Chicago Press.
- Yerushalmi Y.* (1982). *Zakhor: Jewish history and Jewish memory*. Seattle: University of Washington Press.
- Zelizer B.* (1995). *Covering the body: the Kennedy assassination, the media, and the shaping of collective memory*. Chicago: University of Chicago Press.
- Zerubavel E.* (1981). *Hidden rhythms: schedules and calendars in social life*. Berkeley: University of California Press.
- Zielinski S.* (1986). History as entertainment and provocation: the TV series «Holocaust» in West Germany // *Germans and Jews since the Holocaust: the changing situation in West Germany* / ed. A. Rabiribach and J. Zipes. New York: Holmes and Meier. P. 258–283.
- Zolberg V.* (1998). Contested remembrance: the Hiroshima exhibit controversy // *Theory and Society*. Vol. 27. № 4. P. 1565–1590.